

РАЗДЕЛ II. Отечественная литература и литературно-критическая мысль 40-х – 60-х годов XIX столетия и проблематика русского мировоззрения.

Глава 3. А.И. Герцен: размышления о русском мировоззрении и дворянских революционерах в романе «Былое и думы».

Пятьдесят глав «Былого и дум», писавшихся одним из выдающихся мыслителей XIX столетия А.И. Герценом в течение шестнадцати лет с 1852 по 1868 год в контексте поставленных в проекте «Русское мировоззрение» задач вызывают закономерный интерес. Во-первых, как глубокое и авторитетное личное свидетельство о русской жизни и общественной атмосфере тех лет, когда Герцен находился в России. Такого рода знание позволяет лучше ориентироваться при размышлении о содержании и путях развития русского мировоззрения. Во-вторых, в плане формулирования автором ряда базовых черт и особенностей русского мировоззрения, заинтересованно увиденных и намеренно выделенных им из действительности. И, наконец, в-третьих, с точки зрения исследования процесса развития сознания самого автора - формирования и эволюции значимых для него смыслов и ценностей, в том числе, обнаруживающих себя в контексте темы дворянских революционеров и «новых людей». А поскольку эта проблема специально в известной мне литературе не рассматривается, то ценным в отношении нее является любое авторитетное свидетельство. В данном случае я хотел бы привести мысль известного философа и социолога второй половины XIX столетия К.Н. Леонтьева, в частности восхищавшегося «аристократической позицией» Герцена, которого *«ужаснула ...прозаическая перспектива сведения всех людей к типу европейского буржуа и честного труженика. ...Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это честь ему и слава»*¹. Думаю, что не менее Герцена должна была пугать (и, по всей видимости, пугала перспектива «выведения», создания «новых

¹ Леонтьев К. Собр. Соч. в 9 томах. М., 1912, т. 6, сс. 28 – 29.

людей», что стало одной из задач революционных демократов, поставленной самим себе). При этом, если идея описания европейского буржуа как нового человеческого типа вполне соотносится с реальной историей Англии, Германии и Франции, о чем Герцен пишет преимущественно во второй части своего автобиографического романа, то есть вытекает из анализа естественно возникающего на европейской сцене нового капиталистического социального типа, то с идеей «честного труженика» в его российской версии все обстоит по-другому.

«Честный труженик», он же в транскрипции русских революционных демократов и включившегося в эту логику исследования Ф.М. Достоевского, революционным демократом, слава Богу, не являвшимся, - причина появления «нового человека» на российской общественной сцене лишь отчасти является естественной. В значительно более существенной мере этот социальный тип культивируется и имплантируется в реальную действительность искусственно, в результате специальных усилий, а именно - философских и литературных изысков тех, кто поставил целью создать в российском общественном сознании так называемых революционных демократов. Исторически же, реально он возникает в России из кругов так называемых разночинцев – нового социального слоя, возникшего еще в петровские времена. По определению В. Даля, разночинец – это «человек неподатного состояния, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху»². Первоначально в него входили нижние придворные чины – конюхи, повара, садовники, отставные нижние воинские и статские чины, в том числе – отслужившие солдаты и канцеляристы. Слой пополнялся за счет обедневших дворян, мещан, купцов, духовенства. К 60-м годам XIX столетия разночинцы были освобождены от подушной подати и рекрутской повинности. Будучи лично независимыми, разночинцы могли получить образование, но не могли заниматься торговлей, ремеслами, владеть землей и

² Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 4, с. 41.

крестьянами. Для них была открыта лишь государственная служба. Позднее в слой разночинцев влились журналисты, лекари, репетиторы.

Таким образом, в середине XIX столетия – русские разночинцы никак не походили на вариант европейского «третьего сословия», состоявшего в значительной степени из торгового и ремесленного люда. То есть, если в Европе «третье сословие» составляли люди, занятые делом, то в России оно было представлено прежде всего «пролетариями умственного труда», в том числе - мелким чиновничеством, массой разнообразного канцелярского народа, от которого зависела работоспособность огромной бюрократической машины российской империи, главной своей целью имевшей удержание гигантской территории. Ничего не имея против этой нужно обществу касты управленцев низового звена, тем не менее, следует отметить, что их положение в жизни от европейского третьего сословия отличалось тем, что они производительной силой не были, а были силой, способствующей управлению, то есть заведомо элементом не основным, а вторичным, вспомогательным.

Будучи порождением одной из функций государственного управления, слой этот, естественно, также не имел никакой сколько-нибудь длительной собственной истории, никаких собственных, только ему присущих исторических корней. Возникла функция – возник и слой, исчезла функция или ее часть – исчез и слой или его часть. Само собой, слой этот не был преемником и продолжателем ни крестьянской, ни помещичьей, ни дворянской культуры. (В то время как купцы были продолжением и известной специализацией производителей – крестьян и ремесленников, а ремесленники, в известной части, – продолжением и специализацией домашних промыслов тех же крестьян).

Более того, с культурой вообще по большому счету разночинный слой соотносился так, как соотносятся между собой мера веса и мера длины. Культура для него не, часто вопреки образованию, не представляла ценности.

Это, конечно, не значило, что отдельные выходцы из разночинных слоев никак к ней не приобщались, в том числе - не становились деятелями культуры. Однако для них это была тоже своего рода функция тех задач, которые они перед собой ставили: если задача требовала отношения к культуре, то таковое (отношение) производилось. А поскольку для большинства разночинцев 60-х годов это отношение укладывалось в термин «нигилизм», то именно отрицательное отношение к дворянской культуре и было главным содержанием «культуры» разночинцев.

О незрелом (в смысле - развиваемом с нуля) разночинском нигилизме в этой связи точно писал, например, Писарев: «Эта незрелость составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвящих предрассудков; все мы, становясь на свои ноги, принуждены были развивать свою связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке»³. (В содержание этой «демонологии», требовавшей коренного переосмысления с точки зрения основной массы разночинцев, от лица которых в данном случае говорит Писарев, естественно, включалась дворянская культура). Все сказанное о «новом человеке» в полной мере относится и к рассматриваемой далее оппозиции: «дворянские революционеры» - «новые люди – революционные демократы». В их отношении к действительности есть много существенных различий. Однако в этом перечне нужно выделить коренные, связанные с их конечными целями. Если для «новых людей – революционных демократов» таковой, несомненно, была революция, чем дальше, тем больше понимаемая как великая очистительная катастрофа, уничтожающая «старое» общество, то есть делающая легитимным и единственно возможным появление «нового человека» как «человека ниоткуда», то «дворянским революционерам», к

³ Писарев Д.И. Соч. в 6 томах. СПб, 1894, т. I, с. 292.

которым, без сомнения, вопреки ленинским манипуляциям, принадлежал и А.И. Герцен, ситуация виделась намного сложнее. Проблема формирования политической воли новых революционных слоев российского общества (не важно, о ком шла речь – об артельном крестьянстве или пролетариате) Герценом, в особенности, в последний период жизни, рассматривалась как проблема, связанная с миром культуры, умственным и нравственным развитием общества. Если окультуривания народа не происходит, полагал Искандер, то в случае революции народы, «ринутые в движение ...неотразимо увлекают с собой или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было и хорошо»⁴.

В контексте обсуждения темы «дворянские революционеры» - «новые люди – революционные демократы» по отношению к первым часто всплывает аналогия – они-де «лишние люди» или их потомки. Очевидно, рассчитывая задеть «благородных» - «лишних людей», и Герцена, в том числе, Н. Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» писал: «Нам пришло в голову: что, если бы Костина (героя одного из рассказов Плещеева, «благонамеренного юношу») поселить в Англии, не давши ему, разумеется, годового содержания; что бы он стал там делать? На что бы годился?.. По всей вероятности, и там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка... Да там о нем не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся характером и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить»⁵. Герцен не мог не реагировать на столь грубый утилитаризм. Для него, как отмечает Н. Эйдельман, «лишние люди» - это и декабристы, и Пушкин, и Рылеев, и Якушкин, и Пущин. В николаевское время аристократия и канцеляристы перемешались, «канцелярия и казарма мало-помалу победили гостиную и общество». Против этого, как раз и восстали «лишние люди», романтики и аристократы, не умевшие, за что их

⁴ Герцен А.И. Собр. Соч. в 30-ти томах. И., 1954 – 1965. Т. 6, с. 81.

⁵ Добролюбов Н.А. Полн. Собр. Соч. в 6 тт. М.; Л., 1934 – 1939. Т. 2, с. 243.

корят, взяться за топор и за шило. Верно, «Чаадаев - ...не умел взяться за топор, но умел написать статью, которая потрясла Россию и провела черту в нашем развитии... Чаадаева *высочайшей ложью* объявили сумасшедшим и взяли с него подписку не писать... Чаадаев сделался праздным человеком.

Иван Киреевский, положим, не умел сапог шить, но умел издавать журнал: издал две книжки – запретили журнал... Киреевский сделался лишним человеком... Заслуживают ли они симпатии или нет, это пусть себе решает каждый как хочет. Всякое человеческое страдание, особенно фаталистическое, возбуждает наше сочувствие, и нет ни одного страдания, которому нельзя было не отказать в нем»⁶. Об этом Искандер также много размышляет и в романе «Былое и думы».

Возникающая первоначально в процессе исследования автобиографического романа трудность – как выделять и анализировать типичное в индивидуальной рефлексии и единичном восприятии, при том, что автор не ставил перед собой конкретной цели - в художественной форме типичное обобщать, постепенно «снимается» сама собой. Текст показывает, что равное внимание Герцен уделяет как собственной персоне, что естественно для автобиографического произведения, так и иной задаче - в процессе рассмотрения общественных явлений выявить и обобщить типичные черты ряда социальных слоев. При этом череда поколений, попадающих в авторское поле зрения, довольно значительна: от принадлежащих уже «тому свету» представителей отживших исторических классов - до молодых революционеров России и Европы. И все это – через глубокие личные размышления и переживания.

В этой связи, касаясь вопроса о «жанре» своего произведения в письме к И.С. Тургеневу от 25 декабря 1856 года А.И. Герцен констатирует: в моем романе «и факты, и слезы, и хохот, и теория»⁷. В силу этого, как справедливо отмечал известный литературовед В.А. Туниманов, ««Былое и думы» - книга

⁶ Герцен А.И. Собр. Соч. в 30-ти томах. М., 1954 – 1965. Т. 14, сс. 321 – 326.

⁷ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8, с. 444.

для всех и на все времена, неисчерпаемый источник для писателей, политиков, философов, историков, педагогов, социологов, критиков, лингвистов»⁸.

Не претендуя на полноту охвата всего спектра представленных в автобиографическом романе философских тем, остановлюсь на наиболее значимых, на мой взгляд, которые к тому же согласуются с сюжетами, поднятыми в исследовании «Русское мировоззрение» ранее или с теми, которые впервые намечены к рассмотрению в данной работе.

* * *

Дальнейший разговор о «новом человеке» и о возможности его появления – либо как результата постепенных реформ, либо как итога революционного переворота и столь же революционных преобразований – для содержательного ведения требует понимания общего для времени 40-х – 50-х годов смыслового фона. Эту задачу, как уже было отмечено, в известной степени и решает автобиографический роман, дающий нам представления не только о событиях, но и об их ценностно-культурном фоне. Так, уже во второй главе романа Герцен обращается к одной из самых популярных в России и широко обсуждавшейся в кругах «высшего света» теме «глубокого разврата слуг». При этом он сразу же ставит ее в плоскость более широкого философского обсуждения – о возможности и пределах нравственности человека, живущего в условиях личной несвободы, в российских условиях крепостного права. Согласно авторской трактовке, противоестественное для человека несвободное состояние – корень всех возможных отклонений от нравственных императивов, которые могут быть субъекту предъявлены. «Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они действительно не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я

⁸ Туниманов В.А. А.И. Герцен и русская общественно-литературная мысль XIX в. Санкт-Петербург, Наука, 1994, с. 111.

желал бы знать - которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу... демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее»⁹.

В своих наблюдениях относительно якобы «особой развращенности» крепостных-слуг Герцен солидарен со всеми русскими писателями, чье творчество рассматривалось. Вспомним оценки и замечания Пушкина, Гоголя, Тургенева, подробные рассказы и анализ Толстого и Гончарова, наблюдения Аксакова и Григоровича. Однако в отличие от перечисленных авторов, Герцен обращается к предмету как философ – вводит сущностный и сравнительный (в масштабах нации) ракурс, тем более, что задумываясь о мировом процессе переустройства общественной жизни вообще, он сравнивает русские явления с виденным в Европе. И вот к каким выводам он, в частности, приходит: «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сальен, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно,

⁹ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8, с. 36.

меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие - я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора (один из старших братьев отца А.И. Герцена. – С.Н.), но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится с своим товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение, это - Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой - крестьянской простоты при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны¹⁰.

¹⁰ Вспомним, хотя бы о слуге Ильи Ильича Обломова Захаре, о его кражах мелочи с барского стола и неизменных походах в трактир и на завалинку, где он был центром компании таких же как и он слуг, но где его уважали как равного и он сам себя уважал.

Вино и чай, кабак и трактир - две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью¹¹ осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

...Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает - его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю»¹².

В анализе пьянства русского человека как не самого тяжелого, но отчетливо видного порока интересно сопоставить отношение к нему у Герцена и, например, у Толстого. Вспомним, хотя бы дядю Ерошку из повести «Казачья», который первоначально сошелся с Олениным именно на той почве, что барин Дмитрий не отказывал старому станичнику в выпивке. Там нетрезвость Ерошки не вызывает ни у автора, ни у нас, читателей, отрицательной реакции. Мы просто не замечаем ее. Отчасти потому, что виноградное вино или водка не являются в тамошней местности необычным предметом или дорогим товаром. Они даже не товар, а один из элементов природной среды, которым естественно пользуются взрослые здоровые люди. Вино у казаков – часть вольной жизни, нормального самочувствия, своего рода полноты бытия. Вино не мешает людям быть человеческими, нравственными, добрыми, смелыми и честными. Надо, конечно же, отметить

¹¹ «Трезвым опьянением» Герцен иронически называет деятельность ирландского священника Т. Метью, проповедовавшего неупотребление спиртного и занимавшегося в 1833 году организацией обществ трезвости. Там же, с. 449

¹² Герцен А.И. Цит. соч. Т. 8, сс. 36 – 38.

и то, что это вино пьют люди свободные, удалые, чувствующие свое достоинство и умеющие за себя постоять. В «Казаках» вино, достоинство и честь станичника, равно как и его конь и оружие – вещи одного порядка.

Иное – в средней полосе России, в зоне несвободы, крепостного права. Здесь нет винограда и «вином» зовется скверный алкоголь, самодельная – самогон или иным кустарным способом произведенная водка, годная только на то, чтобы человек смог «утопить» в вине свою печаль, одурманить себя, на время отрешиться от действительности. Здесь у «вина» иная общественная функция и человек, его употребляющий не ждет от него хотя и временного, но более глубокого, чем обычно, ощущения свободы, полноты сил, радости. Вино, - отмечает Герцен, - русского человека оглушает, дает ему возможность «забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край - когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил лет пятнадцать тому назад Сенковский в «Библиотеке для чтения». В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломались в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, - человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести»¹³.

Еще одной темой, рассмотрение которой позволит лучше понимать дальнейшие рассуждения о дворянских революционерах, о реформаторском

¹³ Там же, с. 38.

или революционном путях появления в российском социуме типа «нового человека», нужно выделить тему нравственности человека, обличенного властью. К ней Герцен в своем романе обращается неоднократно, в том числе - и на примере личного опыта жизни в ссылке в Вятской губернии. И, может быть, здесь одним из самых ярких примеров оказывается реальная фигура его тамошнего начальника – губернатора Тюфяева. Обратиться к этой персоне интересно также и в связи со сравнением нравственности господ и слуг. Особенность этой фигуры в высшем чиновном ранге российского государства состоит, согласно Герцену, в том, что «власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири...

Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый, Тюфяев был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году, - каким-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе-таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется если он был заинтересован в деле, говорил ему: что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если б открылось что-нибудь другое»¹⁴.

Эта типичная для российской власти фигура также интересна для исследования и потому, что в романе подробно представлен ее жизненный путь – подъем с самых низов до вершин исполнительной власти и, следовательно, оптимальное с точки зрения достижения поставленной цели (власти) ее поведение. «Тюфяев, - повествует Герцен, - родился в

¹⁴ Там же, сс. 236 – 237.

Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, кувыркаются колесом и проч. Он с ними дошел от Тобольска до польских губерний, потешая православный народ. Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в Тобольск. Его мать овдовела и жила в большой крайности, сын клал сам печку, когда она развалилась; надобно было приискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Развязный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом.

В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор. Ему нужны были деловые писаря, кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решил сделать карьеру.

И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрин, который тогда был генерал-интендантом. Еще год спустя он уже заведует одной экспедицией в канцелярии Аракчеева, заведовавшей всею Россией; он с графом был в Париже во время занятия его союзными войсками.

Тюфяев все время просидел безвыходно в походной канцелярии и a la lettre не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги с достойным товарищем своим Клейнмихелем.

Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут. Устал наконец и Тюфяев на этой фабрике

приказов и указов, распоряжений и учреждений и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не полюбить такого человека, как Тюфяев: без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повиновение в первую добродетель людскую. Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног»¹⁵.

«Удушливая пустота и немота русской жизни», отмечает Герцен, оказываются благоприятной средой для бурного роста и процветания «тюфяевых» как человеческого чиновного типа. Герцен приводит несколько имевших место историй, которые во всей конкретности рисуют нравы и отношения губернской бюрократической среды. Ложь, лицемерие, подлость, ничем не ограниченная власть «первого лица» - столь же необходимые условия жизни, как наличие в атмосфере кислорода. Столкновение с сосланным под тюфяевское начало автора «Былого и дум» было неизбежно. И оно не заставило себя ждать. «...Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия.

Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками: то с излишней фамильярностью, то с грубостью, выходящей из всех пределов, - и все-таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая,, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за них краснел и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в «высшее» вятское общество.

¹⁵ Там же, сс. 235 – 236.

Через несколько месяцев он был мною недоволен, через несколько других он меня ненавидел, и я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.

Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтоб заслужить сначала его внимание и приглашения, потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко; я был с ним всегда *en regie*¹⁶, он требовал подобострастия.

Он ревниво любил свою власть, она ему досталась трудовой копеейкой, и он искал не только повиновения, но вида беспрекословной подчиненности. По несчастю, в этом он был национален.

Помещик говорит слуге: «Молчать! Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!»

Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: «Вы забываетесь, знаете ли вы, с кем вы говорите?»

Государь «за мнения» посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах - и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи.

Тюфяев был настоящий царский слуга, его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединялось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он бы мог быть статский Клейнмихель, его «усердие» точно так же превозмогло бы все, и он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сек бы еще больнее за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее он сохранил от горьких испытаний. Для Тюфяева каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым

¹⁶ Корректен (франц.).

освобождением. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне хлыстом... Все это вошло и назрело в душе писаря; теперь, губернатором, его черед теснить, не давать стула, говорить ты, поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян».

Создавая портрет одного из высших чиновников российского общества, Герцен не просто дает нам представление об одном из человеческих типов. В пермском губернаторе мы также видим своего рода «нового человека», разночинца, хотя и возвышающегося на иной ступени социальной лестницы. Он тоже, как и наши будущие знакомцы – герои Чернышевского, человек без культурной основы, без почвы, без корней. И, таким образом, в социуме начинает формироваться не только оппозиция «эксплуататоры – эксплуатируемые», но и более долговременная и глубокая: люди с культурной основой (дворянские революционеры и дворянские реформаторы, в том числе) и люди без культурной основы (разночинцы и новая власть – «тюфяевы»). Думаю, что избираемые ими методы преобразования действительности были радикально отличны: первые отдавали предпочтение реформам, вторые видели исключительно революционный путь.

Образом Тюфяева Герцен, вместе с тем, задает границы и возможным представлениям об одном из характерных типов русского мировоззрения 40-х годов, описывает присущие ему смыслы и ценности. Конечно, нельзя полагать, что на основе этого материала у нас появляется непосредственная возможность продолжить содержательное рассмотрение сущностных характеристик того мировоззрения, которое начало формулироваться в результате рассмотрения художественной прозы и философских сюжетов. Но, согласимся, задаваемые автобиографическим романом рамки поиска, равно как их содержание, а также тональность и ценностная окраска

описанных личных переживаний Герцена служат хорошими ориентирами и критериями для дальнейшего исследования.

* * *

В контексте уже обсуждавшегося ранее идеологического сюжета «Россия – Запад», в том числе – и с обращением к его философским аспектам, сфокусированным начиная со второй половины 30-х годов XIX столетия в славянофильстве и западничестве, интересны и связанные с этим сюжетом проблемы, по поводу которых размышляет автор «Былого и дум». Так, уже в начале романа он делает замечание о непосредственно наблюдаемой им домашней попытке «европейской прививки» к стилю русской жизни и хозяйствования. «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его - еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками?»¹⁷. Вспомним, что такого же рода попытки описывают в своих произведениях Тургенев, Гончаров, а позднее – может быть всего полнее в сюжетах о Константине Левине - и Лев Толстой.

Попытки размышлять, а в отношении того, что заслуживало позитивной оценки, и перенимать, всегда было обычным делом в любой стране. Россия в этом отношении не представляет собой ни уникальный счастливый случай, ни типичный досадный пример. Это тем более естественно, что в нашей огромной стране, включающей десятки народов, климатических зон, способов хозяйствования и образов жизни, вести речь о каком-то одном или небольшом числе стандартов жизни и хозяйственной практики правители, слава Богу, додумывались очень редко. В этом контексте, почему бы было не попробовать (или, как часто говаривали в то время – «испробовать») и какой-нибудь доселе неизвестный способ или метод хозяйствования? Дело, однако, этим, как правило, не исчерпывалось. По разным поводам, но с неизменной

¹⁷ Там же, с. 23.

горечью о преклонении перед иностранным просто за то, что оно иностранное, говорили, начиная с Фонвизина и Грибоедова, многие русские литераторы, в том числе и непосредственно обращавшиеся к проблематике русского мировоззрения.

Не обходит этой темы и Герцен. Он, например, пишет: «Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, - с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застрашены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть - желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativite¹⁸ сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын, - сказал как-то лорд Дюрам, - настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» - не понимаю. Будьте уверены: князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом»¹⁹.

Наряду с заключениями о невинном намерении в общении прикинуться «просто из учтивости и из кокетства», Герцен был далек от присоединения к славянофильской анафеме европеизму. Более того. Он понимает истоки славянофильской реакции на действительность. «Славянизм, или русицизм, - пишет он, - не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие

¹⁸ Желания понравиться (франц).

¹⁹ Там же, с. 124.

исключительно иностранному влиянию существовал со времени обриту первой бороды Петром I.

Противудействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось: казенное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками, в виде буйных стрельцов, отравленное в рavelине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

Все раскольники - славянофилы.

Все белое и черное духовенство - славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая де Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien ne, que la patrie est chere!»²⁰

Славянофильство и западничество обоюдно стимулировали свое развитие. Так, славянофилы от историко-православных изысканий к политическим перешли не без участия западника Белинского, с которым они

²⁰ Сколь дорога отчизна благородному сердцу! (франц.). Там же, сс. 135 – 136.

постоянно полемизировали. Еще более они активизировались после появления «Письма» Чаадаева. Произведение это, отмечает Герцен, «было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, - все равно, надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними - десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала - но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно - да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza*»²¹.

* * *

Говоря об отечественной истории 40-х годов XIX столетия, о временах, в которые жил Герцен, нельзя обойти молчанием содержание мировоззрения декабристов, с которых эта эпоха начиналась. Именно их идеи ограничения самодержавия, конституции и правопорядка, отмены крепостного права позднее были трансформированы в идеи о свободе, демократии и правах человека. То, что это эти идеи материализовались раньше не в России, а на Западе – результат исторического развития, из которого, однако, вовсе не следует, что нечто, состоявшееся на Западе в более ранний период уже по одной этой причине не должно рассматриваться как возможный закономерный этап развития русской истории. И то, что этот этап в России в

²¹ Оставьте всякую надежду (итал.). Там же, с. 139.

конце концов все же состоялся, также нельзя считать продуктом слепого подражания. Люди, поддающиеся столь легковесному суждению, наряду с прочими ошибками, непомерно высоко ставят роль внешних факторов и чрезмерно принижают роль факторов внутренних.

Вот почему нередко раздающиеся сегодня предостережения против «следования» западному пути, как правило, лишены не только рационального основания, но и своей собственной исторической основы. Ведь если бы мы вняли этому предостережению, то нам пришлось бы отказаться и от тех идеалов, за которые отдали свои жизни декабристы и, напротив, признать, что то, что делало, в частности, русское правительство Николая I, было правильное и точное следование «исконно русскому пути». Ответить же на разумно вопрос, почему путь национальной изоляции и заведомого неприятия выработанных человечеством (в другой стране и другой нацией) фундаментальных и важных для общего человеческого развития смыслов и ценностей является негодным для России, разумно ответить на такой вопрос нельзя.

Вот как об идеях свободы, демократии и прав человека пишет младший современник декабристов Герцен, когда говорит о себе и своих товарищах в те времена. «После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы - предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремящих цепями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16 - 17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди,

лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово - годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъясняящей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования»²².

Прервем цитирование для того, чтобы указать на важный для дальнейшего рассмотрения вопрос о «новых людях» как движущей силе революции и о реформе как альтернативном способе развития. Не вызывает сомнения, что предпринятая в советский период трактовка, в соответствии с которой вся историю борьбы против царизма была сведена к одной лишь силе – революционным демократам и при которой начисто элиминировался не менее эффективный в долгосрочной перспективе путь дворянского революционного реформизма, трактовка эта хоть и на время удалась, но теперь себя изжила. «Новые люди» хоть и появились, но жили не в пустыне и среди «старых» людей, носителей и продолжателей национальной культуры.

И далее у Герцена: «Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так. Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег, Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

- А это что за бумаги?

- Имена подписавшихся, - сказал Киреевский, - и счет.

- Вы верите, что я деньги отдам? - спросил старик,

²² Там же, сс. 144 – 145.

- Об этом нечего говорить.

- А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена. - С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно»²³.

Обратим внимание на любопытный и в иных формах, но, что важно, повторяющийся и позднее пример, когда властимушие и потенциально «валстьменяющие» оказываются по одну сторону баррикады, вступают в своего рода нравственный сговор. Какова могла быть основа этого «союза»? Что стояло за явным потворством власти ее врагам? Очевидно, у обеих сторон было общее понимание необходимости перемен и если даже не было единства в понимании средств изменения положения вещей, о чем, кстати, речь между ними не велась, да и не могла вестись, то все же было нечто общее, обеспечивающее взаимное доверие и, как следствие, помощь. Этим общим для коменданта и Киреевского, было, без сомнения, единство их собственной дворянской истории, присущего ей и одинаково разделяемого набора идеалов и ценностей, общей памяти, наконец. Обе стороны понимали, что их общей целью является поиск общего блага, осуществляемый ненасильственно, путем согласия и реформ. Возможным, наконец, это было потому, что в словосочетании «дворянский революционер» акцент делался на первом слове, что было бы невозможно в словосочетании «революционер разночинный». К тому же, не последним скрепляющим этот союз моментом было и то, что обе стороны ощущали за своей спиной дыхание нового народившегося варвара – революционных разночинцев и «тюфяевых».

Продолжим цитирование романа. «Огарев сам сvez деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое поверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для

²³ Там же, с. 145.

засвидетельствования всей ярости своих верноподданных чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А.А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония - свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое имение игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

- Вы делали для них подписку, это еще хуже. На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает, только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на К<етчере>, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

- Вам-то, милостивый государь, в вашем звании как не стыдно?

Можно было думать, что К<етчер> был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты а la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбирившийся на место Лесовского, цепко ухватился за его слабость с

нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе - и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через десять лет из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чухотку так, как за чухотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за смерть. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличался рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры, Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след.

Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого поселщика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в предупреждение побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства.

К этому внешнему сраму сентенция прибавила один удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

- Боже мой, - сказал лекарь, - знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Возшел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

- Вот больной, - сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полуобритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

- Что, брат, плохо? - сказал я больному и прибавил офицеру: - идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: "Это вы?" Он назвал меня.

«Вы меня не узнаете», - прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

- Извините меня, - сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку, - не могу припомнить.

- Я - Сунгуров,- отвечал он.

- Бедный Сунгуров! - повторил лекарь, качая головой.

- Что же, его оставили? - спросил я.

- Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске*. Имень его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили, впрочем сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила в Пречистенской части; грудной ребенок там и умер*. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!»²⁴

Николаевское время было тягостно для дворянских революционеров не только своими ужасами, но и противоречием между должным, о котором в процессе образования человек получал представление, и сущим, о котором ему не уставали твердить родные и к которому его постепенно приучала реальная жизнь. Герцен называет это противоречиями «слов учения и *былями* жизни». К тому же, зная жизнь в Европе, он утверждает, что противоречие это «между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси». Правда, «число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали - не то чтоб объемистое воспитание - но довольно общее и гуманное; оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться - так толпа и делала, - или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других - время искусства и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило

²⁴ Там же, сс. 145 – 148.

распадение на разные круги»²⁵. Люди делились, в том числе появлялись и те, которые вставали на защиту существующего порядка вещей.

Но кроме откровенных защитников царизма, с которыми спорит Герцен, ему приходилось сталкиваться и с интеллигентами, завсегдатаями столичных салонов, прикрывавшихся лозунгом «Самодержавие, православие, народность»²⁶. Так, он описывает один из таких споров, возникших в связи с обсуждением письма Чаадаева. Примечательно, что нападающий на Чаадаева неназванный в романе магистр защищает свою славянофильскую позицию идеей «целости народа», «единства отечества», «святынь», которых нельзя касаться. На что следует вмешательство Белинского: «- Что за обидчивость такая! Палками бьют - не обижаемся, в Сибирь посылают - не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь - не смей говорить; речь - дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, - не обижаются словами?»

- В образованных странах, - сказал с неподражаемым самодовольством магистр, - есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту, скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

- А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным»²⁷.

Споры, как видим, были нешуточные. Однако это были споры относительно путей дальнейшего развития России. И, пожалуй, трудно

²⁵ Там же, с. 39.

²⁶ Вот как видит Герцен идеологический смысл этого лозунга: «Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь православия, самодержавия и народности, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало - дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и "Рукой всевышнего отечество спасла. ...Николай бежал в народность и православие от революционных идей". Там же, с. 137.

²⁷ Там же, сс. 33 – 34.

отыскать по этому поводу более точные и прочувствованные слова, чем те, которые произнес много лет спустя сам Искандер в «Колоколе» 1861 года: «...Мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *неодинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы - за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое - что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, то наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока –

Mutter, Mutter, lass mich gehen,
Schweiften auf den wilden Hohen!²⁸

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы - их,

²⁸ Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам! (нем.).

а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они - в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»²⁹ Такова была общая основа двух основных течений отечественной философии, двух разнящихся взглядов на русский мир, его прошлое, настоящее и будущее.

Конечно, лозунг «Самодержавие, православие, народность» имел не только «расширительную» славянофильскую трактовку, но и собственное историческое наполнение, о котором следует сказать в связи с его последующей неоднократно повторяющейся реанимацией, в том числе и в наши дни. Сформулированный впервые в 1832 году товарищем министра народного просвещения С.С. Уваровым он на долгие десятилетия стал государственной идеологией Российской империи. Причина его долгожительства заключалась в том, что он как нельзя лучше отвечал потребности власти довериться постепенному и органическому развитию, протекавшему в то же время под ее контролем. Вот как оценивал одну из острейших задач того исторического периода развития, в который ему довелось царствовать Николай I, впервые воспринявший уваровскую «теорию официальной народности»: «Нет сомнения, крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ощутительнейшее и очевидное, но прикасаться к нему *теперь* было бы делом еще более гибельным»³⁰. То есть признаваемые необходимыми перемены отодвигались на неопределенное будущее, а их успех должен был обеспечиваться самим ходом вещей.

²⁹ Там же, сс. 170 – 171.

³⁰ Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990, с. 187.

Опытный политик и администратор Уваров точно почувствовал умонастроение власти, предложив царю амбициозный проект постепенного изменения умонастроения большинства подданных империи посредством институтов народного просвещения. В соответствии с этим замыслом, возглавляемое им министерство должно было стать центром административной власти России. По мнению министра, страна могла рассчитывать на процветание при условии, что религиозные, политические и нравственные идеалы как «древняя ограда государственных уставов» сохраняли свою прежнюю силу. К сожалению, положение, при котором появилась доктрина, было таково, что идеалы были «рассеяны преждевременной и поверхностной цивилизацией, мечтательными системами, безрассудными предприятиями», не были «соединены в единое целое, лишены центра, ...были принуждены противостоять людям и событиям». Слова эти Уваров адресовал времени правления Александра I с его попытками, надеждами и разочарованиями, которое он точно назвал «административный сен-симонизм».

Однако формула была и откликом и на французскую революцию июля 1830 года, поражение которой в борьбе с властью императора истолковывалось как свидетельство политического тупика такого рода развития событий. Появившееся в теоретических обоснованиях революционного движения во Франции слово «цивилизация» как материальные и духовные достижения французской нации и человечества вообще в интерпретации Уварова стало синонимом неприемлемого для России социального опыта. В противоположность идее цивилизации, в своей формуле Уваров в полной мере раскрыл потенциал отечественного «просвещенного консерватизма». Согласно ему, без религии русский народ «обречен на гибель», так как скатывается на низшую ступень нравственного порядка. При этом для Уварова не важна божественная природа православия. Воспринимает его он лишь функционально и ценит в нем лишь

традиционность, в том числе укорененность в политической структуре государства³¹.

Самодержавие – необходимейшее условие существования империи в ее нынешнем виде. Все, кто думает иначе – не знают страны, ее положения, желаний и нужд. И Уваров предупреждает: «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»³².

В отличие от самодержавия как принципа, народность – характеристика состояния общества, при которой в каждой его национальной личности сохраняются «главные черты». Ответственность за поддержание и распространение этого состояния лежит на власти и созданной ею системе народного образования. Эволюция народности должна привести к возникновению адекватных ей правительственных органов и общественных институций в целом. Однако радикальных новшеств здесь не предвиделось: народность должна была в полной мере реализовать себя лишь и исключительно через самодержавие. Таким образом «триада» была в конечном счете формой выражения традиционалистских ценностей.

Реализация «триады» была отнюдь не простой задачей. Начать с того, что в России XIX столетия между ее основными сословиями – дворянством и крестьянством общего было не больше, чем между испанским конкистадором и аборигеном «Нового света». Непересекающимися были не только обычаи, но и язык. Более того, как и во всех традиционных обществах русская элита для большего своего отличия от «черного» народа вела свое происхождение не из национальных, а из нерусских корней – германских,

³¹ Примечательно, что поданный царю документ был написан на французском и хотя этот язык давал несколько возможностей назвать православие, безразличие к этому самого Уварова приводит к тому, что в тексте он употребляет словосочетание «Вера предков». Термин «православие» был вставлен в документ позднее.

³² Уваров С.С. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I. / Публикация М.М. Шевченко // Река времен. Книга истории и культуры. Кн. I. М., 1995, с. 71.

литовских или татарских родов, что позволяло с большим психологическим комфортом мотивировать свои особые права и особый образ жизни.

Однако, начиная с Отечественной войны 1812 года, у нации появился иной опыт – опыт общего оборонительного военного предприятия. Эти мысли стали формулироваться декабристами, что обозначало исходную точку перехода от имперских структур в институты национального государства.

С этим идейным фоном Уваров должен был считаться. И потому в его интерпретации народность есть не столько тренд к национальному государству, сколько субъективные «убеждения» каждого русского в том, что его личные религиозные, политические и нравственные убеждения и принципы залог благополучия страны, русский - тот, кто верит в свою церковь и своего государя. То есть, те, кто не исповедует православия, кто стоит за Конституцию, те против церкви и против царя и, следовательно, те – не русские, а в транскрипции XIX столетия – и вовсе «изверги».

Перед Уваровым, наконец, стояла и задача «остаться в Европе», поскольку эволюционное развитие страны вовсе не предполагало изоляции от остального мира. Словами Уварова, задача заключалась в том, чтобы «идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места, ...взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно отвергнуть все то, что несет в себе семена беспорядка и потрясений». Причем делать это предстояло не в военно-мобилизационной атмосфере, когда вполне органичным смотрелся призыв «За Веру, Царя и Отечество!», а в мирное время.

В заключение экскурса в смысл популярной национальной «триады», хотел бы воспользоваться точным выводом, содержащимся в обстоятельном историческом исследовании А. Зорина: «Интеллектуальная драма русского государственного национализма состояла в том, что ключевая для нее категория «национальности» или «народности» (*nationalite*, *Volkstum*) была выработана западноевропейской общественной мыслью для легитимации

нового социального порядка, шедшего на смену традиционным конфессионально-династическим принципам государственного устройства. Уваровская триада объявляла традиционными камнями русской народности именно те институты, которые народность призвана была разрушить – господствующую церковь и имперский абсолютизм. Выполняя политический заказ русской монархии, Уваров попытался совместить требования времени и консервацию существующего порядка, но его европейское воспитание оказалось сильнее усвоенного традиционализма, и народность подчинила себе и православие, и самодержавие, превратив их в этнографически-орнаментальный элемент национальной истории»³³.

* * *

С точки зрения понимания общей атмосферы российской жизни тех лет и природы самодержавия в том числе наряду с прочим заслуживает внимания государственный механизм принятия решения относительно судеб отдельных людей – их достоинства, чести и самой жизни. Прежде всего, и об этом Герцен пишет особенно подробно, в отношении него самого. Приведу в полном объеме очень показательное, на мой взгляд, описание процедуры нового изгнания Герцена из Санкт-Петербурга, состоявшегося всего лишь через полгода после возвращения из вятской и владимирской ссылки.

Вызов в жандармерию случился, как в России водится искони, поздним вечером. На глазах беременной жены Герцена уводит конвойный офицер. Будущий издатель «Колокола» доставлен в жандармскую часть. «За большим столом, возле которого стояло несколько кресел, сидел один-одинехонек старик, худой, седой, с зловещим лицом. Он для важности дочитал какую-то бумагу, потом встал и подошел ко мне. На груди его была звезда, из этого я заключил, что это какой-нибудь корпусный командир шпионов.

- Видели вы генерала Дубельта?

- Нет.

³³ Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. Москва, Новое литературное обозрение, 2001, с. 374.

Он помолчал, потом, не смотря мне в глаза, морщась и сводя бровями, спросил каким-то стертым голосом (голос этот мне ужасно напомнил нервно-шипящие звуки Голицына juniora московской следственной комиссии):

- Вы, кажется, не очень давно получили разрешение приезжать в столицы?

- В прошедшем году.

Старик покачал головой.

- Плохо вы воспользовались милостью государя. Вам, кажется, придется опять ехать в Вятку. Я смотрел на него с удивлением.

- Да-с, - продолжал он, - хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему вас.

- Я совершенно ничего не понимаю, - сказал я, теряясь в догадках.

- Не понимаете? – это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того, чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, - нет! Куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились; как вас опыт не научил? Почему вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь мерзавца, который лучше не просит, как через минуту прийти сюда с доносом.

- Ежели вы можете мне объяснить, что все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

- Куда ведут?.. Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

- Слышал, - отвечал я пренаивно.

- И, может, повторяли?

- Кажется, что повторял.

- С рассуждениями, я чай?

- Вероятно.

- С какими же рассуждениями? - Вот оно - склонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет, наверно, принято графом в соображение.

- Помилуйте, - сказал я, - какое тут сознание, об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

- Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами.

- Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я выдумал это дело?

- В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.

- Вы меня просто страшаете, - отвечал я. – Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не опросив, правда или нет?

- Вы сами признались.

- Да как же записка была представлена и дело кончено прежде, чем вы со мной говорили?

- Прочтите сами.

Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам; такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России.

Я молчал. Мне показалось, что сам старик почувствовал, что дело очень нелепо и чрезвычайно глупо, так что он не нашел более нужным защищать его, и, тоже помолчав, спросил:

- Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

- Женат, - отвечал я.

- Жаль, что это прежде мы не знали, впрочем, если что можно сделать, то граф сделает, я ему передам наш разговор. Из Петербурга во всяком случае вас вышлют.

Он посмотрел на меня. Я молчал, но чувствовал, что лицо горело, все, что я не мог высказать, все, задержанное внутри, можно было видеть в лице. Старик опустил глаза, подумал и вдруг апатическим голосом, с притязанием на тонкую учтивость, сказал мне:

- Я не смею дольше задерживать вас; желаю душевно, - впрочем, дальнейшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, это чувство бесправия, бессилия, это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку.

...Грустно сидели мы вечером того дня, в который я был в III отделении, за небольшим столом – малютка играл на нем своими игрушками, мы говорили мало; вдруг кто-то так рванул звонок, что мы поневоле вздрогнули. Матвей бросился отворять дверь, и через секунду влетел в комнату жандармский офицер, гремя саблей, гремя шпорами, и начал отборными словами извиняться перед моей женой: «Он не мог думать, не подозревал, не предполагал, что дама, что дети, чрезвычайно неприятно...»

Жандармы – цвет учтивости, если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких казарм, где офицер *desole*³⁴ был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах.

Поль-Луи Курье уже заметил в свое время, что палачи и прокуроры становятся самыми вежливыми людьми. «Любезнейший палач, - пишет прокурор, - вы меня дружески одолжите, приняв на себя труд, если вас это не беспокоит, отрубить завтра утром голову такому-то». И палач торопится

³⁴ Опечаленный (франц.)

отвечать, что «он считает себя счастливым, что такой безделицей может сделать приятное г. прокурору, и остается всегда готовый к его услугам – палач». А тот - третий, остается преданным без головы.

- Вас просит к себе генерал Дубельт.

- Когда?

- Помилуйте, теперь, сейчас, сию минуту.

- Матвей, дай шинель.

Я пожал руку жене – на лице у нее были пятны, рука горела. Что за спех, в десять часов вечера, заговор открыт, побег, драгоценная жизнь Николая Павловича в опасности? «Действительно, - подумал я, - я виноват перед будочником, чему было дивиться, что при этом правительстве какой-нибудь из его агентов прирезал двух-трех прохожих; будочники второй и третьей степени разве лучше своего товарища на Синем мосту? А сам-то будочник будочников?»

Дубельт прислал за мной, чтоб мне сказать, что граф Бенкендорф требует меня завтра в восемь часов утра к себе для объявления мне высочайшей воли!

...Когда я взошел в его кабинет, он сидел в мундирном сертуке без эполет и, куря трубку, писал. Он в ту же минуту встал и, прося меня сесть против него, начал следующей удивительной фразой:

- Граф Александр Христофорович доставил мне случай познакомиться с вами. Вы, кажется, видели Сахтынского сегодня утром?

- Видел.

- Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

- Я вам, генерал, скажу то, что сказал графу Сахтынскому, я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказывали, как я.

- Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница – я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть *de denigrer le gouvernement*³⁵ - *страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление отеческое, все делается как можно келейнее... Мы выбиваемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение* (Выделено мной как неустаревающий уже скоро двести лет пример доводов против гласности, демократии и прав человека в России. – С.Н.), рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах. Не правда ли, ведь вы писали об этом?

- Я так мало придаю важности делу, что совсем не считаю нужным скрывать, что я писал об этом, и прибавлю к кому – к моему отцу.

- Разумеется, дело неважное; но вот оно до чего вас довело. Государь тотчас вспомнил вашу фамилию и что вы были в Вятке и велел вас отправить назад. А потому граф и поручил мне уведомить вас, чтоб вы завтра в восемь часов утра приехали к нему, он вам объявит высочайшую волю.

- Итак, на том и останется, что я должен ехать в Вятку, с больной женой, с больным ребенком, по делу, о котором вы говорите, что оно не важно?..

- Да вы служите? - спросил меня Дубельт, пристально вглядываясь в пуговицы моего вицмундирного фрака.

- В канцелярии министра внутренних дел.

- Давно ли?

- Месяцев шесть.

³⁵ Чернить правительство. (франц.)

- И все время в Петербурге?

- Все время.

- Я понятия не имел.

- Видите, - сказал я, улыбаясь, - как я себя скромно вел. Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что я говорил в своей комнате, как думал и что писал отцу...

- Помилуйте, - перебил меня Дубельт, - все сведения, собранные об вас, совершенно в вашу пользу, я еще вчера говорил с Жуковским, - дай бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отозвался.

- А все-таки в Вятку...

- Вот видите, ваше несчастье, что докладная записка была подана и то многих обстоятельств не было на виду. Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городом. Я переговорю с графом, он еще сегодня едет во дворец. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать; граф – человек ангельской доброты.

...На другой день в восемь часов я был в приемной-зале Бенкендорфа. Я застал там человек пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам. В числе их была женщина, вся в трауре, с заплаканными глазами, она сидела с бумагой, свернутой в трубочку, в руках; бумага дрожала, как осиновый лист. Шага три от нее стоял высокий, несколько согнувшийся старик, лет семидесяти, плешивый и пожелтевший, в темнозеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Он время от времени вздыхал, качал головой и шептал что-то себе под нос.

...Наконец двери отворились *a deux battants*³⁶, и вошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии.

³⁶ На обе створки. (франц.)

Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим.

...Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством – и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничества католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями..,

- До сведения государя императора, - сказал он мне, - дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как вы мало исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку; но я, по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительства предоставлено назначить министру внутренних дел.

- Позвольте мне откровенно сказать, что даже в сию минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В тысяча восемьсот тридцать пятом году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был; теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!

Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь:

- Я вам объявляю монаршую волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете и что я вам скажу - это потерянные слова. Переменить теперь ничего нельзя, что будет потом, долею зависит от вас. А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей, так легко в третий раз вы, наверно, не отделаетесь.

Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, перерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготавливались к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром. И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути, - а человек этот отделяется общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит какое-нибудь решение, чтоб сдать дело в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится?

Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил:

- Ваше сиятельство, взойдите в мое положение.

- Что за мерзость, - закричал граф, - вы позорите ваши медали! - И полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человеческими!

Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал:

- Зачем это вы, в самом деле? - ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорф уехал к государю»³⁷.

* * *

Еще одна поднимаемая Герценом в романе «Былое и думы» тема, которая в дальнейшем получит свое развитие в мировоззренческом плане у других авторов и пригодится в предлагаемых читателю размышлениях – тема

³⁷ Там же, сс. 54 – 64.

ревности и страсти, то есть состояний человеческого сердца и души, наиболее тесным образом связанных с любовью и семьей. Подробно эти важные для русского мировоззрения темы будут исследованы Львом Толстым, Федором Достоевским, Николаем Чернышевским. У Герцена же мы находим лишь его собственные наблюдения, выполненные скорее социологически и журналистски, чем философски и художественно. Но и они ценны, поскольку не только характеризуют его собственную мировоззренческую систему, но и позволяют принимать их во внимание как суждения выдающегося человека о современной ему эпохе с характерным для нее пониманием этих проблем.

«Ревность... Верность... Измена... Чистота... Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови, - слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме... и притом слова, под которыми, как под дамокловым мечом - жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за углом и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальнее, губить нас самих...

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти - факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и *совершенно естественная* страсть - она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность

получила *jus gladii*³⁸, право суда и мести. Она сделалась *долгом чести*, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики, но затем все же на дне души остается очень реальное и несокрушимое чувство боли, несчастья, называемое ревностью, - чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию, - чувство «ирредуцибельное»³⁹.

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуркулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон *правда*, с обеих - *ложь*. Бойким *entweder - oder*⁴⁰ и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания *одного* из терминов, он возвращается, так как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

Гегель *снял* эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в *безусловный дух*; в нем они не исчезали, а *преобразались, исполнялись*, как выражалась немецкая теологическая наука, - это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются *искуплениями*, то есть священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположнее *личной воли и необходимости*, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

...Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична - страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, *в развитии общих интересов*.

³⁸ Право меча (лат.).

³⁹ Несократимое (франц.).

⁴⁰ Или – или (нем.)

Радикально уничтожить ревность значит уничтожить *любовь к лицу*, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще - любовью к полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и дает колорит, *tonus*, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм - *личный*, наше счастье и несчастье - *личное* счастье и несчастье. Доктринаризм со всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции⁴¹ с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб *они лились человечески...* и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника»⁴².

И далее: «Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполья инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей...

Брак для христианства - уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат.

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачию в награду за глупую победу свою над человеческой природой.

Вообще христианский брак мрачен и несправедлив, он восстанавливает неравенство, против которого проповедует евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована, выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар, католичества и рыцарства.

⁴¹ Утешительные речи (лат.).

⁴² Там же, сс. 203 – 205.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос.

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика... стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом, слагается в тиши *народная легенда*, раздаётся песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером - она поет за несчастную женщину. Суд разит - песня отпускает. Церковь предаёт анафеме любовь вне брака.- песня прокликает брак без любви. Она защищает влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем. Песня для народа - его светская молитва, его *другой* выход из голодной, холодной жизни, душевной тоски и тяжелой работы»⁴³.

Эти размышления – не досужие выдумки. Герцену на собственном опыте пришлось пережить перипетии, содержанием которых были любовь и ревность. Так, многие страницы V части «Былого и дум» посвящены описанию его личной истории, связанной с любовью-привязанностью к его жене со стороны одного из герценовских друзей, немецкого поэта Гервега. Его психологические движения и реальные поступки, продиктованные, как показывает Герцен, «мозговыми страстями», сопровождаемыми «ложной правдой», «психической невоздержанностью» и «эстетической истерикой», стоившие много нервов Александру Герцену и его жене Наталье, подробно и с глубоким пониманием случившегося представлены в романе. К феноменам любви и страсти как важным частям русского мировоззрения я обращаюсь несколько позднее на примере других высоких литераторов. Однако и тогда, когда этот анализ будет проведен, полученный в его результате вывод в полной мере может быть отражен философичными замечаниями Герцена:

⁴³ Там же, сс. 206 – 207.

«... ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб *они лились человечески...*»

* * *

И, наконец, еще один сюжет, к которому стоит обратиться как к важному свидетельству современника и очевидца, связан с «типом петрашевцев», который, как социологически точно определяет Герцен, сложился в Петербурге «под конец карьеры Белинского», «после меня до появления Чернышевского». Понимание этого типа для проводимого мной исследования важно потому, что именно он сделался центральным предметом анализа Н.Г. Чернышевского в его романе «Что делать?», равно как и для некоторых романов Ф.М. Достоевского.

Энгельсон, о котором идет речь в «Былом и думах», появился в Ницце в конце 1850 года и сразу же стал искать знакомства Герцена. Рекомендован он был как «замешанный в деле Петрашевского», по которому, кстати, проходил и молодой Достоевский, к которому фактически отношения не имел и потому был полицией отпущен, хотя и рекомендовался в качестве «друга Петрашевского».

Петрашевцы, «окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда - безмерное самолюбие. Не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время неуверенное в себе.

Между их запросом и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую

работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья - разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них закромы были полны. "Обидное непризнание общества" их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и Fratzenhaftigkeit»⁴⁴.

Знаменательно первое появление Энгельсона у Герцена: «Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, выключенный из лица за какой-то вздор, гнушаясь службой, которую должен был принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться и, за несколько часов до исполнения своего намерения, пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку "Отечественных записок". В ней была моя статья "По поводу одной драмы". Чтение мало-помалу захватило его внимание, ему стало легче, ему стало стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющее силы, и Энгельсон вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим.

Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволения скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, прерываемую отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроенную голову, резкую диалектическую способность и еще яснее - сломанность, бросавшую его из одной крайности в другую, от негодованья, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния.

Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него, - он как-то слишком сильно действовал на нервы, но мало-помалу я привык к его странностям и был рад

⁴⁴ Дурачества (нем.). Там же, с. 344.

оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей»⁴⁵.

Энгельсон, как скоро понял Герцен, обладал рядом несомненных талантов, однако ни одного из них он в себе не развил. «Дикие и полные сил побегии талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его - и от домашних тревог, отнимающих половину времени, и от хватанья за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. В этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то, что отец его был финляндского происхождения»⁴⁶.

Появление социального «типа петрашевцев» Герцен относит к свойствам «николаевского времени», когда вся система казенного воспитания во всех государственных учебных заведениях заключалась в выработке у воспитуемых «религии слепого повиновения», за успешное следование которой полагалась награда в виде власти той или иной степени. В воспитанниках поощрялось главным образом честолюбие и ревнивое завистливое соревнование. Однако позитивной конкретной цели молодые люди перед собой не видели. Напротив, в них формировалось чувство безысходной стабильности, что вызывало у них сознание бессилия и заблаговременную «усталь перед работой». Молодые люди превращались в усталых, подозрительных, ревнивых ипохондриков, «были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. ...Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я, наконец, убедился потом, что все это - одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возраженья и состраданья согласиться с кающимся, чтоб увидеть, как легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский

⁴⁵ Там же, сс. 335 – 336.

⁴⁶ Там же, с. 339.

священник перед сильными мира сего, имеет только право торжественно отпустить грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились, - страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это - психологическая задача.

...Для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор и плакали потом. С переменой нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренни, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна, - с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслажденья, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью, отброшенная чаша валяется в грязи»⁴⁷. Обобщая свои размышления о современных ему русских характерах и социальных типах, в начале VI части

⁴⁷ Там же, сс. 345 - 346.

романа Герцен итожит: «..как розен современный человек в мнениях и идеалах, как громко плачет он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы»⁴⁸.

* * *

Приведенные наблюдения и выводы великого Искандера, поставившего перед собой цель «искать суда своих» и пребывающего в уверенности, что «восстановление правды дороже мести» сами по себе, как ясно из текста, не стали предметом анализа. В этом, на мой взгляд, проявляется особенность автобиографического романа. Автор не сочиняет персонажи, но делает не менее ценное: придает обобщающий характер, «философизует» явленную непосредственно ему жизненную реальность, создавая тем самым закрепленный во времени, в котором он жил, свой собственный опыт, свое чувственное переживание, свой культурно-интеллектуальный стандарт. Все это – как свидетельство подлинного «жителя тех времен» еще неоднократно пригодится нам при анализе смыслов и ценностей русского мировоззрения, воссозданными из глубин национального духа и предъявленными миру отечественными философами и литераторами.

⁴⁸ Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. М.: Издательство Академии наук, 1957. Т. XI, с. 9.